

## Зигмунд Фрейд

### По ту сторону принципа удовольствия

#### I

В психоаналитической теории мы без колебания принимаем положение, что течение психических процессов автоматически регулируется принципом удовольствия (Lustprinzip), возбуждаясь каждый раз связанным с неудовольствием напряжением и принимая затем направление, совпадающее в конечном счете с уменьшением этого напряжения, другими словами, с устранением неудовольствия (Unlust) или получением удовольствия (Lust). Рассматривая изучаемые нами психические процессы в связи с таким характером их протекания, мы вводим тем самым в нашу работу «экономическую» точку зрения. Мы полагаем, что теория, которая, кроме топического и динамического моментов, учитывает еще и экономический, является самой совершенной, какую только мы можем себе представить в настоящее время, и заслуживает названия метапсихологической.

При этом для нас совершенно неважно, насколько с введением «принципа удовольствия» мы приблизились или присоединились к какой-либо определенной, исторически обоснованной философской системе. К таким спекулятивным положениям мы приходим путем описания и учета фактов, встречающихся в нашей области в каждодневных наблюдениях. Приоритет и оригинальность не являются целью психоаналитической работы, и явления, которые привели к установлению этого принципа, настолько очевидны, что почти невозможно проглядеть их. Напротив, мы были бы очень признательны той философской или психологической теории, которая могла бы нам пояснить, каково значение того императивного характера, какой имеет для нас чувство удовольствия или неудовольствия.

К сожалению, нам не предлагают ничего приемлемого в этом смысле. Это самая темная и недоступная область психической жизни, и если для нас никак невозможно обойти ее совсем, то, по моему мнению, самое свободное предположение будет и самым лучшим. Мы решились поставить удовольствие и неудовольствие в зависимость от количества имеющегося в душевной жизни и не связанного как-либо возбуждения таким образом, что неудовольствие соответствует повышению, а удовольствие понижению этого количества. При этом мы не думаем о простом отношении между силой этих чувств и теми количественными изменениями, которыми они вызваны; менее же всего, согласно со всеми данными психофизиологии, можно предполагать здесь прямую пропорциональность; возможно, что решающим моментом для чувства является большая или меньшая длительности этих изменений. Возможно, что эксперимент нашел бы себе доступ в эту область; для нас, аналитиков, трудно посоветовать дальнейшее углубление в эту проблему, поскольку здесь нами не будут руководить совершенно точные наблюдения.

Для нас, однако, не может быть безразличным то, что такой глубокий исследователь, как Т.Фехнер, выдвинул теорию удовольствия и неудовольствия, в существенном совпадающую с той, к которой приводит нас психоаналитическая работа. Положение Фехнера, высказанное в небольшой статье «Einige Ideen zur Schop-fimngs und Entwicklungsgeschichte der Organismen» (1873, Abschn. 9. Zusatz, S.94), гласит следующее: «Поскольку определенные стремления всегда находится в связи с удовольствием или неудовольствием, можно также удовольствие и неудовольствие мыслить в психофизической связи с условиями устойчивости и неустойчивости, и это позволяет обосновать развитую мной в другом месте гипотезу, что всякое психофизическое движение, переходящее за порог сознания, связано до известной степени с удовольствием, когда оно, перейдя известную границу, приближается к полной устойчивости, и – с неудовольствием, когда, также переходя известный предел, оно отдалается от этого; между обеими границами, которые можно назвать качественным порогом удовольствия и неудовольствия, в определенных

границах лежит известная область чувственной индифферентности...»

Факты, побудившие нас признать господство принципа удовольствия в психической жизни, находят свое выражение также в предположении, что психический аппарат обладает тенденцией удерживать имеющееся в нем количество возбуждения на возможно более низком или по меньшей мере постоянном уровне. Это то же самое, лишь выраженное иначе, так как если работа психического аппарата направлена к тому, чтобы удерживать количество возбуждения на низком уровне, то все, что содействует нарастанию напряжения, должно быть рассматриваемо как нарушающее нормальные функции организма, то есть как неудовольствие. Принцип удовольствия выводится из принципа константности (Konstanzprinzip). В действительности к принципу константности приводят нас те же факты, которые заставляют нас признать принцип удовольствия. При подробном рассмотрении мы найдем также, что эта предполагаемая нами тенденция душевного аппарата подчиняется в качестве частного случая указанной Фехнером тенденции к устойчивости, с которой он поставил в связь ощущение удовольствия и неудовольствия.

Мы должны, однако, сказать, что, собственно, неправильно говорить о том, что принцип удовольствия управляет течением психических процессов. Если бы это было так, то подавляющее большинство наших психических процессов должно было бы сопровождаться удовольствием или вести к удовольствию, в то время как весь наш обычный опыт резко противоречит этому. Следовательно, дело может обстоять лишь так, что в душе имеется сильная тенденция к господству принципа удовольствия, которой, однако, противостоят различные другие силы или условия, и, таким образом, конечный исход не всегда будет соответствовать принципу удовольствия. Сравним примечание Фехнера при подобном же рассуждении (там же, с. 90): «Причем, однако, стремление к цели еще не означает достижения этой цели, и вообще цель достижима только в приближении...» Если мы теперь обратимся к вопросу, какие обстоятельства могут затруднить осуществление принципа удовольствия, то мы снова вступим на твердую и известную почву и можем в широкой мере использовать наш аналитический опыт.

Первый закономерный случай такого торможения принципа удовольствия нам известен. Мы знаем, что принцип удовольствия присущ первичному способу работы психического аппарата и что для самосохранения организма среди трудностей внешнего мира он с самого начала оказывается непригодным и даже в значительной степени опасным.

Под влиянием стремления организма к самосохранению этот принцип сменяется «принципом реальности», который, не оставляя конечной цели – достижения удовольствия, откладывает возможности удовлетворения и временно терпит неудовольствие на длинном окольном пути к удовольствию. Принцип удовольствия остается еще долгое время господствовать в сфере трудно «воспитываемых» сексуальных влечений, и часто бывает так, что он в сфере этих влечений или же в самом «я» берет верх над принципом реальности даже во вред всему организму.

Между тем несомненно, что замена принципа удовольствия принципом реальности объясняет нам лишь незначительную, и притом не самую главную, часть опыта, связанного с неудовольствием. Другой, не менее закономерный источник неудовольствия заключается в конфликтах и расщеплениях психического аппарата, в то время как «я» развивается до более сложных форм организации. Почти вся энергия, заполняющая этот аппарат, возникает из наличествующих в нем влечений, но не все эти влечения допускаются до одинаковых фаз развития. Вместе с тем постоянно случается так, что отдельные влечения или их компоненты оказываются несовместимыми с другими в своих целях или требованиях и не могут объединиться во всеохватывающее единство нашего «я». Благодаря процессу вытеснения они откалываются от этого единства, задерживаются на низших ступенях психического развития, и для них отнимается на ближайшее время возможность удовлетворения. Если им удастся, что легко случается с вытесненными сексуальными влечениями, окольным путем достичь прямого удовлетворения или замещения его, то этот успех, который вообще мог бы быть удовольствием, ощущается «я» как неудовольствие. Вследствие старого вытеснения

конфликта принцип удовольствия испытывает новый прорыв как раз тогда, когда известные влечения были близки к получению, согласно тому же принципу, нового удовольствия. Детали этого процесса, посредством которого вытеснение превращает возможность удовольствия в источник неудовольствия, еще недостаточно поняты или не могут быть ясно описаны, но бесспорно, что всякое невротическое неудовольствие есть подобного рода удовольствие, которое не может быть воспринято как таковое.

Оба отмеченных здесь источника неудовольствия далеко не исчерпывают полностью всего многообразия наших неприятных переживаний, но об остальной их части можно, по-видимому, утверждать с полным правом, что ее существование не противоречит господству принципа удовольствия. Ведь чаще всего нам приходится ощущать неудовольствие от восприятия (*Wahrnehmungsunlust*), будь то восприятие напряжения от неудовлетворенных влечений или внешнее восприятие, все равно, является ли оно мучительным само по себе или же возбуждает в психическом аппарате неприятные ожидания, признаваемые им в качестве «опасности». Реакция на требования этих влечений и сигналы опасности, в которых, собственно, и выражается деятельность психического аппарата, может быть должным образом направляема принципом удовольствия или видоизменяющим его принципом реальности. Это как будто бы не заставляет признать дальнейшее ограничение принципа удовольствия, и как раз исследование психической реакции на внешние опасности может дать новый материал и новую постановку для обсуждаемой здесь проблемы...

## II

Уже давно описано то состояние, которое носит название «травматического невроза» и наступает после таких тяжелых механических потрясений, как столкновение поездов и другие несчастья, связанные с опасностью для жизни. Ужасная, только недавно пережитая война подала повод к возникновению большого количества таких заболеваний и положила конец попыткам сводить это заболевание к органическому поражению нервной системы вследствие влияния механического воздействия. Картина состояния при травматическом неврозе приближается к истерии по богатству сходных моторных симптомов, но, как правило, превосходит ее сильно выраженными признаками субъективных страданий, близких к ипохондрии или меланхолии, и симптомами широко разлитой общей слабости и нарушения психических функций. Полного понимания как военных неврозов, так и травматических неврозов мирного времени мы еще не достигли. В военных неврозах, с одной стороны, проясняет дело, но вместе с тем и запутывает то, что та же картина болезни иногда возникала и без участия грубого механического повреждения. В обыкновенном травматическом неврозе привлекают внимание две основные возможности: первая – когда главным этиологическим условием является момент внезапного испуга, и вторая – когда одновременно перенесенное ранение или повреждение препятствовало возникновению невроза.

Испуг (*Schreck*), страх (*Angst*), боязнь (*Furcht*) неправильно употребляются как синонимы. В их отношении к опасности их легко разграничить. Страх означает определенное состояние ожидания опасности и приготовление к последней, если она даже и неизвестна; боязнь предполагает определенный объект, которого боятся; испуг имеет в виду состояние, возникающее при опасности, когда субъект оказывается к ней не подготовлен, он подчеркивает момент неожиданности. Я не думаю, что страх может вызвать травматический невроз; в страхе есть что-то, что защищает от испуга и, следовательно, защищает и от невроза, вызываемого испугом. К этому положению мы впоследствии еще вернемся.

Изучение сновидения мы должны рассматривать как самый надежный путь к исследованию глубинных психических процессов. Состояние больного травматическим неврозом во время сна носит тот интересный характер, что он постоянно возвращает больного в ситуацию катастрофы, поведшей к его заболеванию, и больной просыпается с

новым испугом. К сожалению, этому: слишком мало удивляются. Обычно думают, что это только доказательство силы впечатления, произведенного травматическим переживанием, если это впечатление не оставляет больного даже во сне. Больной, если можно так выразиться, фиксирован психически на этой травме. Такого рода фиксация на переживаниях, вызвавших болезнь, давно уже нам известна при истерии. Брейер и Фрейд в 1893 году выставили такое положение: истерики по большей части страдают от воспоминаний. И при так называемых «военных» неврозах исследователи, например Ференци и Зиммель, объясняют некоторые моторные симптомы как следствие фиксации на моменте травмы.

Однако мне неизвестно, чтобы больные травматическим неврозом в бодрственном состоянии уделяли много времени воспоминаниям о постигшем их несчастном случае. Возможно, что они скорей стараются вовсе о нем не думать. Принимая как само собой разумеющееся, что сон снова возвращает их в обстановку, вызвавшую их болезнь, они обычно не считаются с природой сна. Природе сна больше отвечало бы, если бы сон рисовал больному сцены из того времени, когда он был здоров, или картины ожидаемого выздоровления. Если мы не хотим, чтобы сны травматических невротиков ввели нас в заблуждение относительно тенденции сновидения исполнять желание, нам остается заключить, что в этом состоянии функция сна так же нарушена и отклонена от своих целей, как и многое другое, или мы должны были бы подумать о загадочных мазохистских тенденциях «я».

Я предлагаю оставить темную и мрачную тему травматического невроза и обратиться к изучению работы психического аппарата в его наиболее ранних нормальных формах деятельности. Я имею в виду игру детей.

Различные теории детской игры лишь недавно сопоставлены и оценены с аналитической точки зрения З. Пфайфером в «Imago» (V, N. 4). Я могу здесь лишь сослаться на эту работу. Эти теории пытаются разгадать мотивы игры детей, не выставляя на первый план экономическую точку зрения, то есть учитывая получение удовольствия. Не имея в виду охватить все многообразия проявлений игры, я использовал представившийся мне случай разъяснить первую самостоятельно созданную игру полуторагодовалого ребенка. Это было больше чем мимолетное наблюдение, так как я жил в течение нескольких недель под одной крышей с этим ребенком и его родителями и наблюдение мое продолжалось довольно долго, пока это загадочное и постоянно повторяемое действие не раскрыло передо мной свой смысл.

Ребенок был не слишком развит интеллектуально, он говорил в свои полтора года только несколько понятных слов и произносил, кроме того, много полных значения звуков, которые были понятны окружающим. Он хорошо понимал родителей и единственную прислугу, и его хвалили за его «приличный» характер. Он не беспокоил родителей по ночам, честно соблюдал запрещение трогать некоторые вещи и ходить, куда нельзя, и прежде всего он никогда не плакал, когда мать оставляла его на целые часы, хотя он и был нежно привязан к матери, которая не только сама кормила своего ребенка, но и без всякой посторонней помощи ухаживала за ним и нянчила его. Этот славный ребенок обнаружил беспокойную привычку забрасывать все маленькие предметы, которые ему попадали, далеко от себя в угол комнаты, под кровать и проч., так что разыскивание и собирание его игрушек представляло немалую работу. При этом он произносил с выражением заинтересованности и удовлетворения громкое и продолжительное «о-о-о-о!», которое, по единогласному мнению матери и наблюдателя, было не просто междометием, но означало «прочь» (Fort). Я наконец заметил, что это игра и что ребенок все свои игрушки употреблял только для того, чтобы играть ими, отбрасывая их прочь. Однажды я сделал наблюдение, которое укрепило это мое предположение. У ребенка была деревянная катушка, которая была обвита ниткой. Ему никогда не приходило в голову, например, тащить ее за собой по полу, то есть пытаться играть с ней, как с тележкой, но он бросал ее с большой ловкостью, держа за нитку, за сетку своей кровати, так что катушка исчезала за ней, и произносил при этом свое многозначительное «о-о-о-о!», затем снова вытаскивал катушку за нитку из кровати и

встречал ее появление радостным «тут» (Da). Это была законченная игра, исчезновение и появление, из которых по большей части можно было наблюдать только первый акт, который сам по себе повторялся без устали в качестве игры, хотя большее удовольствие, безусловно, связывалось со вторым актом.

Толкование игры не представляло уже труда. Это находилось в связи с большой культурной работой ребенка над собой, с ограничением своих влечений (отказом от их удовлетворения), сказавшимся в том, что ребенок не сопротивлялся больше уходу матери. Он возмещал себе этот отказ тем, что посредством бывших в его распоряжении предметов сам представлял такое исчезновение и появление как бы на сцене. Для аффективной оценки этой игры безразлично, конечно, сам ли ребенок изобрел ее или усвоил ее по чьему-либо примеру. Наш интерес должен остановиться на другом пункте. Уход матери не может быть для ребенка приятным или хотя бы безразличным. Как же согласуется с принципом удовольствия то, что это мучительное переживание ребенок повторяет в виде игры? Может быть, на это ответят, что этот уход должен сыграть роль залога радостного возвращения, собственной целью игры и является это последнее. Этому противоречило бы наблюдение, которое показывало, что первый акт, уход как таковой, был инсценирован ради самого себя, для игры, и даже гораздо чаще, чем вся игра в целом, доведенная до приятного конца.

Анализ такого единичного случая не дает точного разрешения вопроса. При беспристрастном размышлении возникает впечатление, что ребенок сделал это переживание предметом своей игры по другим мотивам. Он был до этого пассивен, был поражен переживанием и ставит теперь себя в активную роль, повторяя это же переживание, несмотря на то что оно причиняет неудовольствие, в качестве игры. Это побуждение можно было бы приписать стремлению к овладению (Bemächtigungstrieb), независимо от того, приятно ли воспоминание само по себе или нет. Но можно попытаться дать и другое толкование. Отбрасывание предмета, так что он исчезает, может быть удовлетворением подавленного в жизни импульса мщения матери за то, что она ушла от ребенка, и может иметь значение упрямого непослушания: «Да, иди прочь, мне тебя не надо, я сам тебя отсылаю». Этот же самый ребенок, которого я наблюдал в возрасте 1 1/2 года, при его первой игре, имел обыкновение годом позже бросать об пол игрушку, на которую он сердился, и говорить при этом: «Иди на войну!» («Gen in K (г) ieg!») Ему тогда рассказывали, что его отсутствующий отец находится на войне, и он вовсе не чувствовал отсутствия отца, но обнаруживал ясные признаки того, что не желал бы, чтобы кто-нибудь мешал ему одному обладать матерью. Мы знаем и о других детях, которые пытаются выразить подобные свои враждебные побуждения, отбрасывая предметы вместо лиц. Здесь возникает сомнение, может ли стремление психически переработать какое-либо сильное впечатление, полностью овладеть им, выявиться как нечто первичное и независимое от принципа удовольствия. В обсуждаемом здесь случае ребенок мог только потому повторять в игре неприятное впечатление, что с этим повторением было связано другое, но прямое удовольствие.

Также и дальнейшее наблюдение детской игры не разрешает нашего колебания между двумя возможными толкованиями. Часто можно видеть, что дети повторяют в игре все то, что в жизни производит на них большое впечатление, что они могут при этом отрегулировать силу впечатления и, так сказать, сделаться господами положения. Но, с другой стороны, достаточно ясно, что вся их игра находится под влиянием желания, доминирующего в их возрасте, – стать взрослыми и делать так, как это делают взрослые. Можно наблюдать также, что неприятный характер переживания не всегда делает его непригодным в качестве предмета игры. Если доктор осматривал у ребенка горло или произвел небольшую операцию, то это страшное происшествие, наверно, станет предметом ближайшей игры, но здесь нельзя не заметить, что получаемое при этом удовольствие происходит из другого источника. В то время как ребенок переходит от пассивности переживания к активности игры, он переносит то неприятное, что ему самому пришлось пережить, на товарища по игре и мстит таким образом тому, кого этот последний замещает.

Из этого, во всяком случае, вытекает, что излишне предполагать особое влечение к

подражанию в качестве мотива для игры. Напомним еще, что артистическая игра и подражание взрослым, которое в отличие от поведения ребенка рассчитано на зрителей, доставляет им, как, например, в трагедии, самые болезненные впечатления и все же может восприниматься ими как высшее наслаждение. Мы приходим, таким образом, к убеждению, что и при господстве принципа удовольствия есть средства и пути к тому, чтобы само по себе неприятное сделать предметом воспоминания и психической обработки. Пусть этими случаями и ситуациями, разрешающимися в конечном счете в удовольствие, займется построенная на экономическом принципе эстетика; для наших целей они ничего не дают, так как они предполагают существование и господство принципа удовольствия и не обнаруживают действия тенденций, находящихся по ту сторону принципа удовольствия, то есть таких, которые первично выступали бы как таковые и были бы независимы от него.

### III

Двадцать пять лет интенсивной работы привели к тому, что непосредственные задачи психоаналитической техники в настоящее время совсем другие, чем были вначале. Вначале анализирующий врач не мог стремиться ни к чему другому, кроме того, чтобы разгадать у больного скрытое бессознательное, привести его в связный вид и в подходящую минуту сообщить ему. Психоанализ прежде всего был искусством толкования. Так как терапевтическая задача этим не была решена, вскоре выступило новое стремление – понудить больного подтвердить построение психоаналитика посредством собственного воспоминания. При этом главное внимание уделялось сопротивлению больного: искусство теперь заключалось в том, чтобы возможно скорее вскрыть его, указать на него больному и посредством дружеского воздействия побудить оставить сопротивление (здесь остается место для внушения, действующего как перенесение).

Постепенно становилось все яснее, что скрытая цель сделать сознательным бессознательное и на этом пути оставалась не вполне достижимой. Больной может вспомнить не все вытесненное; более того, он не может вспомнить как раз самого главного и не может убедиться в правильности сообщенного ему. Он скорее вынужден повторить вытесненное в виде новых переживаний, чем вспомнить его как часть прошлых переживаний, как хотел бы врач. Это воспроизведение (Reproduktion), выступающее со столь неожиданной точностью и верностью, имеет всегда своим содержанием часть инфантильной сексуальной жизни, Эдипова комплекса или его модификаций, и закономерно отражается в области перенесения, то есть на отношениях к врачу. Если при лечении дело зашло так далеко, то можно сказать, что прежний невроз заменен лишь новым – неврозом перенесения. Врач старался по возможности ограничить сферу этого невроза перенесения, как можно глубже проникнуть в воспоминания и меньше допустить повторений. Отношение, устанавливающееся между воспоминаниями и воспроизведениями, для каждого случая бывает различным. Врач, как правило, не может миновать эту фазу лечения. Он должен заставить больного снова пережить часть забытой жизни и должен следить за тем, чтобы было сохранено в должной мере то, в силу чего кажущаяся реальность сознается всегда как отражение забытого прошлого. Если это удастся, то достигается нужное убеждение больного и зависящий от этого терапевтический эффект.

Чтобы отчетливее выявить это «навязчивое повторение» (Wiederholungszwang), которое обнаруживается во время психоаналитического лечения невротиков, нужно прежде всего освободиться от ошибочного мнения, будто при преодолении сопротивления имеешь дело с сопротивлением бессознательного. Бессознательное, то есть вытесненное, не оказывает вовсе никакого сопротивления стараниям врача, оно даже само стремится только к тому, чтобы прорваться в сознание, несмотря на оказываемое на него давление, или выявиться посредством реального поступка. Сопротивление лечению исходит из тех же самых высших слоев и систем психики, которые в свое время произвели вытеснение. Так как мотивы сопротивления и даже само сопротивление представляются нам во время лечения

бессознательными, то мы вынуждены избрать более целесообразный способ выражения. Мы избежим неясности, если мы вместо противопоставления бессознательного сознательному будем противопоставлять «я» и вытесненное. Многое в «я», безусловно, бессознательно, именно то, что следует назвать ядром «я».

Лишь незначительную часть этого «я» мы можем назвать предсознательным. После этой замены чисто описательного выражения выражением систематическим или динамическим мы можем сказать, что сопротивление анализируемых исходит из их «я», и тогда мы тотчас начинаем понимать, что «навязчивое повторение» следует приписать вытесненному бессознательному. Эта тенденция, вероятно, могла бы выявиться не раньше, чем идущая навстречу работа лечения ослабит вытеснение.

Нет сомнения в том, что сопротивление сознательного и предсознательного «я» находится на службе у принципа удовольствия, оно имеет в виду избежать неудовольствия, которое возникает благодаря освобождению вытесненного, и наше усилие направляется к тому, чтобы посредством принципа реальности достигнуть примирения с существующим неудовольствием. Но в каком отношении стоит «навязчивое повторение» как проявление вытесненного к принципу удовольствия? Ясно, что большая часть из того, что «навязчивое повторение» заставляет пережить вновь, должно причинять «я» неудовольствие, так как оно способствует реализации вытесненных влечений, а это и есть, по нашей оценке, неудовольствие, не противоречащее указанному «принципу удовольствия», неудовольствие для одной системы и одновременно удовлетворение для другой. Новый и удивительный факт, который мы хотим теперь описать, состоит в том, что «навязчивое повторение» воспроизводит также и такие переживания из прошлого, которые не содержат никакой возможности удовольствия, которые не могли повлечь за собой удовлетворения даже вытесненных прежде влечений.

Ранний расцвет инфантильной сексуальности был вследствие несовместимости господствовавших в этот период желаний с реальностью и недостаточной степени развития ребенка обречен на гибель. Он погиб в самых мучительных условиях и при глубоко болезненных переживаниях. Утрата любви и неудачи оставили длительное нарушение самочувствия в качестве нарциссического рубца; неудачи, по моим наблюдениям и исследованиям Марциновского, являются наиболее живым элементом в часто встречающемся у невротиков чувстве неполноценности. «Сексуальное исследование», которое было ограничено физическим развитием ребенка, не привело ни к какому удовлетворительному результату; отсюда позднейшие жалобы: я ничего не могу сделать, мне ничего не удастся. Нежная связь по большей части с одним из родителей другого пола приводила к разочарованию, к напрасному ожиданию удовлетворения, к ревности при рождении нового ребенка, недвусмысленно указывавшем на «неверность» любимого отца или матери; собственная же попытка произвести такое дитя, предпринятая с трагической серьезностью, позорно не удавалась; уменьшение ласки, отдаваемой теперь маленькому братцу, возрастающие требования воспитания, строгие слова и иногда даже наказание – все это в конце концов раскрыло в полном объеме всю выпавшую на его долю обиду. Существует несколько определенных типов такого переживания, регулярно возвращающихся после того, как приходит конец эпохи инфантильной любви.

Все эти тягостные остатки опыта и болезненные аффективные состояния повторяются невротиком в перенесении, снова переживаются с большим искусством. Невротики стремятся к срыву незаконченного лечения, они умеют снова создать для себя переживание обиды; заставляют врача прибегать к резким словам и к холодному обращению, они находят подходящие объекты для своей ревности, они заменяют горячо желанное дитя инфантильной эпохи намерением или обещанием большого подарка, который обыкновенно остается таким же малореальным, как и прежнее желание. Ничто из всего этого не могло бы тогда принести удовольствия; нужно былей думать, что теперь это вызовет меньшее неудовольствие; если оно возникает как воспоминание, чем если бы претворилось в новое переживание. Дело идет, естественно, о проявлении влечений, которые должны были бы привести к удовлетворению,

но знание, что они вместо этого и тогда приводили к неудовольствию, ничему не научило. Несмотря на это, они снова повторяются; их вызывает принудительная сила.

То же самое, что психоанализ раскрывает на перенесении у невротиков, можно найти также и в жизни не невротических людей. У последних эти явления производят впечатление преследующей судьбы, демонической силы, и психоанализ с самого начала считал такую судьбу автоматически возникающей и обусловленной ранними инфантильными влияниями. Навязчивость, которая при этом обнаруживается, не отличается характерного для невротиков «навязчивого повторения», хотя эти лица никогда не обнаруживали признаков невротического конфликта, вылившегося в образование симптомов. Так, известны лица, у которых отношение к каждому человеку складывается по одному образцу: благодетели, покидаемые с ненавистью своими питомцами; как бы различны ни были отдельные случаи, этим людям, кажется, суждено испытать всю горечь неблагодарности; мужчины, у которых каждая дружба кончается тем, что им изменяет друг; другие, которые часто в своей жизни выдвигают для себя или для общества какое-нибудь лицо в качестве авторитета и этот авторитет затем после известного времени сами отбрасывают, чтобы заменить его новым; влюбленные, у которых каждое нежное отношение к женщине проделывает те же фазы и ведет к одинаковому концу, и т. д. Мы мало удивляемся этому «вечному возвращению одного и того же», когда дело идет об активном отношении такого лица и когда мы находим постоянную черту характера, которая должна выражаться в повторении этих переживаний. Гораздо большее впечатление производят на нас те случаи, где такое лицо, кажется, переживает нечто пассивно, где никакого его влияния не имеется и, однако, его судьба все снова и снова повторяется. Вспомним, например, историю той женщины, которая три раза подряд выходила замуж, причем все мужья ее заболели, и ей приходилось ухаживать за ними до смерти. Самое захватывающее поэтическое представление такого случая дал Тассо в романтическом эпосе «Освобожденный Иерусалим». Герой его, Танкред, нечаянно убил любимую им Клоринду, когда она сражалась с ним в вооружении неприятельского рыцаря. Он проникает после ее похорон в страшный волшебный лес, который пугает войско крестоносцев. Он разрубает там своим мечом высокое дерево, и из раны дерева течет кровь, и он слышит голос Клоринды, душа которой была заключена в этом дереве; она жалуется на то, что он снова причинил боль своей возлюбленной.

На основании таких наблюдений над работой перенесения и над судьбой отдельных людей мы найдем в себе смелость выдвинуть гипотезу, что в психической жизни действительно имеется тенденция к навязчивому повторению, которая выходит за пределы принципа удовольствия, и мы будем теперь склонны свести сны травматических невротиков и склонность ребенка к игре к этой тенденции. Во всяком случае, мы должны сказать, что мы только в редких случаях можем отделить влияние навязчивого повторения от действия других мотивов. Мы уже упоминали, какие иные толкования допускает возникновение детской игры. Страсть к повторению и прямое, дающее наслаждение удовлетворение влечений кажутся здесь соединенными во внутреннюю связь. Явления перенесения состоят, по-видимому, на службе у сопротивления со стороны вытесняющего «я»; навязчивое повторение также призывается на помощь нашим «я», которое твердо поддерживает принцип удовольствия. Рационально взвесив обстоятельства, мы уясним себе многое в том, что можно было бы назвать «судьбой», и перестанем ощущать вовсе потребность во введении нового таинственного мотива. Менее всего подозрительным является случай сновидений, предвещающих несчастья, но при более близком рассмотрении нужно все же принять, что в других примерах факты не исчерпываются известными мотивами. Остается много такого, что оправдывает навязчивое повторение, и это последнее кажется нам более первоначальным, элементарным, обладающим большей принудительной силой, чем отодвинутый им в сторону принцип удовольствия. Если же в психической жизни существует такое навязчивое повторение, то мы хотели бы узнать что-нибудь о том, какой функции оно соответствует, при каких условиях оно может выявиться и в каком отношении стоит оно к принципу удовольствия, которому мы до сих пор приписывали господство над течением



процессов возбуждения в психической жизни.

#### IV

Теперь мы переходим к спекуляции, иногда далеко заходящей, которую каждый, в зависимости от своей личной установки, может принять или отвергнуть. Дальнейшая попытка последовательной разработки этой идеи сделана только из любопытства, заставляющего посмотреть, куда это может привести.

Психоаналитическая спекуляция связана с фактом, получаемым при исследовании бессознательных процессов и состоящим в том, что сознательность является не обязательным признаком психических процессов, но служит лишь особой функцией их. Выражаясь метапсихологически, можно утверждать, что сознание есть работа отдельной системы, которую можно назвать  $Ww$ . Так как сознание есть главным образом восприятие раздражений, приходящих к нам из внешнего мира, а также чувств удовольствия и неудовольствия, которые могут проистекать лишь изнутри нашего психического аппарата, системе  $W - Ww$  может быть указано пространственное местоположение. Она должна лежать на границе внешнего и внутреннего, будучи обращенной к внешнему миру и облекая другие психические системы. Мы, далее, замечаем, что с принятием этого мы не открыли ничего нового, но лишь присоединились к анатомии мозга, которая локализует сознание в мозговой коре, в этом внешнем окутывающем слое нашего центрального аппарата. Анатомия мозга вовсе не должна задавать себе вопроса, почему, рассуждая анатомически, сознание локализовано как раз в наружной стороне мозга, вместо того чтобы пребывать хорошо защищенным где-нибудь глубоко внутри. Может быть, мы воспользуемся этими данными для дальнейшего объяснения нашей системы  $W - Ww$ .

Сознательность не есть единственное свойство, которое мы приписываем происходящим в этой системе процессам. Мы опираемся на данные психоанализа, допуская, что процессы возбуждения оставляют в других системах длительные следы как основу памяти, то есть следы воспоминаний, которые не имеют ничего общего с сознанием. Часто они остаются наиболее стойкими и продолжительными, если вызвавший их процесс никогда не доходил до сознания. Однако трудно предположить, что такие длительные следы возбуждения остаются и в системе  $W - Ww$ . Они очень скоро ограничили бы способность этой системы к восприятию новых возбуждений, если бы они оставались всегда сознательными; наоборот, если бы они всегда оставались бессознательными, то поставили бы перед нами задачу объяснить существование бессознательных процессов в системе, функционирование которой обыкновенно сопровождается феноменом сознания. Таким допущением, которое выделяет сознание в особую систему, мы, так сказать, ничего не изменили бы и ничего не выиграли бы. Если это и не является абсолютно решающим соображением, то все же оно может побудить нас предположить, что сознание и оставление следа в памяти несовместимы друг с другом внутри одной и той же системы. Мы могли бы сказать, что в системе  $Ww$  процесс возбуждения совершается сознательно, но не оставляет никакого длительного следа; все следы этого процесса, на которых базируется воспоминание, при распространении этого возбуждения переносятся на ближайшие внутренние системы. В этом смысле я набросал схему, которую выставил в 1900 году в спекулятивной части «Толкования сновидений». Если подумать, как мало мы знаем из других источников о возникновении сознания, то нужно отнести известное значение хоть несколько обоснованному утверждению, что сознание возникает на месте следа воспоминания.

Таким образом, система  $Ww$  должна была отличаться той особенностью, что процесс возбуждения не оставляет в ней, как во всех других психических системах, длительного изменения ее элементов, но ведет как бы к вспышке в явлении осознания. Такое отклонение от всеобщего правила требует разъяснения посредством одного момента, приходящего на ум исключительно при исследовании этой системы, и этим моментом, отсутствующим в других

системах, могло бы легко оказаться вынесенное наружу положение системы Ww, ее непосредственное соприкосновение с внешним миром.

Представим себе живой организм в самой упрощенной форме – в качестве недифференцированного пузырька раздражимой субстанции; тогда его поверхность, обращенная к внешнему миру, является дифференцированной в силу своего положения и служит органом, воспринимающим раздражение. Эмбриология, как повторение филогенеза, действительно показывает, что центральная нервная система происходит из эктодермы и что серая мозговая кора есть все же потомок примитивной наружной поверхности, который перенимает посредством унаследования существенные ее свойства. Казалось бы вполне возможным, что вследствие непрекращающегося натиска внешних раздражений на поверхность пузырька его субстанция до известной глубины изменяется, так что процесс возбуждения иначе протекает на поверхности, чем в более глубоких слоях. Таким образом, образовалась такая кора, которая в конце концов оказалась настолько прожженной раздражениями, что доставляет для восприятия раздражений наилучшие условия и неспособна уже к дальнейшему видоизменению. При перенесении этого на систему Ww это означало бы, что ее элементы не могли бы подвергаться никакому длительному изменению при прохождении возбуждения, так как они уже модифицированы до крайности этим влиянием. Тогда они уже подготовлены к возникновению сознания. В чем состоит модификация субстанции и происходящего в ней процесса возбуждения, об этом можно составить себе некоторое представление, которое, однако, в настоящее время не удастся еще проверить. Можно предположить; что возбуждение при переходе от одного элемента к другому должно преодолеть известное сопротивление, и это уменьшение сопротивления оставляет длительно существующий след возбуждения (проторение путей); в системе Ww такое сопротивление при переходе от одного элемента к другому не возникает. С этим представлением можно связать брейеровское различие покоящейся (связанной) и свободно-подвижной энергии в элементах психических систем; элементы системы Ww обладали бы в таком случае не связанной, но исключительно свободно-отводимой энергией. Но я полагаю, что пока лучше об этих вещах высказываться с возможной неопределенностью. Все же мы связали посредством этих рассуждений возникновение сознания с положением системы Ww и с приписываемыми ей особенностями протекания процесса возбуждения.

Мы должны осветить еще один момент в живом пузырьке с его корковым слоем, воспринимающим раздражение. Этот кусочек живой материи носится среди внешнего мира, заряженного энергией огромной силы, и, если бы он не был снабжен защитой от раздражения (Reizschutz), он давно погиб бы от действия этих раздражений: Он вырабатывает это предохраняющее приспособление посредством того, что его наружная поверхность изменяет структуру, присущую живому, становится в известной степени неорганической и теперь уже в качестве особой оболочки или мембраны действует сдерживающе на раздражение, то есть ведет к тому, чтобы энергия внешнего мира распространялась на ближайшие оставшиеся живыми слои лишь небольшой частью своей прежней силы. Эти слои, защищенные от всей первоначальной силы раздражения, могут посвятить себя усвоению всех допущенных к ним раздражений. Зато этот внешний слой благодаря своему отмиранию предохраняет все более глубокие слои от подобной участи по крайней мере до тех пор, пока раздражение не достигает такой силы, что оно проламывает эту защиту. Для живого организма такая защита от раздражений является, пожалуй, более, важной задачей, чем восприятие раздражения; он снабжен собственным запасом энергий и должен больше всего стремиться защищать свои особые формы преобразования этой энергии от нивелирующего, следовательно, разрушающего влияния энергии, действующей извне и превышающей его собственную по силе. Восприятие раздражений главным образом имеет своей целью ориентироваться в направлении и свойствах идущих извне раздражений, а для этого оказывается достаточным брать из внешнего мира лишь небольшие пробы и оценивать их в небольших дозах. У высокоразвитых организмов воспринимающий корковый

слой бывшего пузырька давно погрузился в глубину организма, оставив часть этого слоя на поверхности под непосредственной общей защитой от раздражения. Это и есть органы чувств, которые содержат в себе приспособления для восприятия специфических раздражителей и особые средства для защиты от слишком сильных раздражений и для задержки неадекватных видов раздражений. Для них характерно то, что они перерабатывают лишь очень незначительные количества внешнего раздражения, они берут лишь его мельчайшие пробы из внешнего мира. Эти органы чувств можно сравнить с щупальцами, которые ощупывают внешний мир и потом опять оттягиваются от него.

Я разрешу себе на этом месте кратко затронуть вопрос, который заслуживает самого основательного изучения. Кантовское положение, что время и пространство суть необходимые формы нашего мышления, в настоящее время может под влиянием известных психоаналитических данных быть подвергнуто дискуссии. Мы установили, что бессознательные душевные процессы сами по себе находятся «вне времени». Это прежде всего означает то, что они не упорядочены во времени, что время ничего в них не изменяет, что представление о времени нельзя применить к ним. Это негативное свойство можно понять лишь путем сравнения с сознательными психическими процессами. Наше абстрактное представление о времени должно почти исключительно зависеть от свойства работы системы  $W - W_w$  и должно соответствовать самовосприятию этой последней. При таком способе функционирования системы должен быть избран другой путь защиты от раздражения. Я знаю, что эти утверждения звучат весьма туманно, но должен ограничиться лишь такими намеками.

Мы до сих пор указывали, что живой пузырек должен быть снабжен защитой от раздражений внешнего мира. Перед тем мы утверждали, что ближайший его корковый слой должен быть дифференцированным органом для восприятий раздражений извне. Этот чувствительный корковый слой, будущая система  $W_w$ , также получает возбуждения и изнутри. Положение этой системы между наружными и внутренними влияниями и различия условий для влияний с той и другой стороны являются решающими для работы этой системы и всего психического аппарата. Против внешних влияний существует защита, которая уменьшает силу этих приходящих раздражений до весьма малых доз; по отношению к внутренним влияниям такая защита невозможна, возбуждение глубоких слоев непосредственно и не уменьшаясь распространяется на эту систему, причем известный характер их протекания вызывает ряд ощущений удовольствия и неудовольствия. Во всяком случае, возбуждения, происходящие от них, будут более адекватны способу работы этой системы по своей интенсивности и по другим качественным свойствам (например, по своей амплитуде), чем раздражения, приходящие из внешнего мира. Эти обстоятельства окончательно определяют две вещи: во-первых превалирование ощущений удовольствия и неудовольствия, которые являются индикатором для процессов, происходящих внутри аппарата, над всеми внешними раздражениями; во-вторых, деятельность, направленную против таких внутренних возбуждений, которые ведут к слишком большому увеличению неудовольствия. Отсюда может возникнуть склонность относиться к ним таким образом, как будто они влияют не изнутри, а снаружи, чтобы к ним возможно было применить те же защитные меры от раздражений. Таково происхождение проекции, которой принадлежит столь большая роль в происхождении патологических процессов.

У меня складывается впечатление, что мы приблизились посредством последних рассуждений к пониманию господства принципа удовольствия; но мы еще не разъяснили тех случаев, которые ему противоречат. Поэтому сделаем шаг дальше. Такие возбуждения извне, которые достаточно сильны, чтобы проломать защиту от раздражения, мы называем травматическими. Я полагаю, что понятие травмы включает в себя понятие нарушения защиты от раздражения, Такое происшествие, как внешняя травма, вызовет, наверное, громадное расстройство в энергетике организма и приведет в движение все защитные средства; принцип удовольствия при этом остается бессильным. Организм оказывается не в силах сдержать переполнение психического аппарата столь большими количествами

раздражений. Возникает скорее другая задача, состоящая в том, чтобы победить это раздражение, психически связать эту огромную массу ворвавшихся раздражений, чтобы затем свести их на нет.

Вероятно, специфическое неудовольствие от физической боли есть следствие того, что защита от раздражений в известной степени прорвана. От этого места периферии вследствие этого текут к психическому аппарату постоянные возбуждения таким же образом, каким они обыкновенно могут приходиться лишь изнутри. И какую иную реакцию мы можем ожидать на этот прорыв?

Со всех сторон будет привлечена активная энергия (*Besetzungsenergie*), чтобы создать соответственное высокое энергетическое заполнение вокруг пострадавшего места. Создается сильнейшая компенсация (*Gegenbesetzung*), для осуществления которой поступаются своим запасом все другие психические системы, так что получается обширное ослабление и понижение обычной работоспособности других психических функций. На подобных примерах мы хотим научиться прилагать наши метапсихологические построения к такого рода первичным фактам.

Из этого обстоятельства мы делаем вывод, что даже система с высоким энергетическим потенциалом (*hochbesetzte System*) может воспринимать вновь приходящую несвязанную энергию, превращая ее в покоящуюся, то есть «связать» ее психически. Чем выше потенциал собственной покоящейся энергии, тем выше будет ее связывающая сила; и наоборот, чем ниже этот потенциал, тем меньше эта система будет в состоянии воспринимать, усваивать энергию, тем сокрушительнее должны быть последствия такого прорыва «защиты от раздражения». Неправильно было бы возражение против такого понимания, что увеличение энергетического потенциала (*Besetzungen*) вокруг места прорыва объясняется гораздо проще прямым следствием проникающих сюда возбуждений. Если бы это было так, то психический аппарат испытал бы только увеличение своего энергетического потенциала, а ослабляющий характер боли, ослабление всех других систем остались бы необъяснимыми. Даже самые сильные защитные действия боли не противоречат нашему объяснению, так как они происходят рефлекторно, то есть они возникают без посредства психического аппарата. Неопределенность всех наших построений, которые мы называем метапсихологическими, происходит, конечно, оттого, что мы ничего не знаем о природе процесса возбуждения в элементах психических систем и не чувствуем себя вправе делать даже какое-либо предположение: в этом отношении мы оперируем, таким образом, с большим *X*, который мы переносим в каждую новую формулу. Что этот процесс совершается с количественно различной энергией – это легко допустимое предположение; что он имеет также больше чем одно качество (например, в виде амплитуды), может быть для нас невероятным; мы принимаем в качестве новой формулировки предположение Брейера, что дело идет здесь о двух формах энергии: текущей свободно, стремящейся к разряду и покоящемся запасе психических систем (или их элементов). Возможно, что мы уделим место предположению, что «связывание» втекающей в психический аппарат энергии состоит в переводе ее из свободно текущего в покоящееся состояние.

Я полагаю, что нужно сделать попытку понимания обыкновенного травматического невроза как последствия обширного прорыва «защиты от раздражений». Этим восстановлено было бы в своих правах старое наивное учение о шоке, в противоположность, по-видимому, более новому и психологически более требовательному учению, которое приписывает этиологическое значение не механическому воздействию силы, а испугу и угрозе жизни. Но эти противоречия нетрудно примирить; психоаналитическое понятие травматического невроза идентично с грубой формой теории шока. Если последняя объясняет сущность шока непосредственно повреждением молекулярной или гистологической структуры нервных элементов, то мы стараемся понять влияние, исходя из прорыва «защиты от раздражений» и из возникающих отсюда задач. Условием для него служит отсутствие подготовленности в виде страха (*Angstbereitschaft*), который создает переизбыток энергии (*Uberbesetzung*) в системах, прежде всего воспримающих раздражение. Вследствие такого пониженного

энергетического потенциала системы не в состоянии связывать приходящие к ним количества возбуждения, и тем легче осуществляются указанные последствия такого прорыва «защиты от раздражений». Мы находим, таким образом, что подготовленность в виде страха с повышением энергетического потенциала воспринимающей системы представляет последнюю линию защиты от раздражения. Для целого ряда травм такая разница между неподготовленными и подготовленными посредством повышения потенциала системами может быть решающим моментом для их исхода; он больше не будет зависеть самой силы травмы. Если сновидения травматических невротиков возвращают больных так регулярно в обстановку катастрофы, то они, во всяком случае, не являются исполнением желания, галлюцинаторное осуществление которого сделалось функцией при господстве принципа удовольствия. Но мы должны допустить, что они осуществляют другую задачу, разрешение которой должно произойти раньше, чем принцип удовольствия начнет осуществлять свое господство. Эти сновидения стараются справиться с раздражением посредством развития чувства страха, отсутствие которого стало причиной травматического невроза. Они проливают, таким образом, свет на функцию психического аппарата, которая, не противореча принципу удовольствия, все же независима от него и кажется более первоначальной, чем стремление к удовольствию и избегание неудовольствия.

Здесь было бы уместно впервые признать исключение из правила, что сновидение есть исполнение желания. Страшные сновидения (Angsttraume) не представляют подобного исключения, как я неоднократно и подробно доказывал, также и сновидения-наказания (Straftraume), так как они воздают должное наказанию за исполнение запрещенного желания и являются, таким образом, исполнением желания особого «чувства вины», реагирующего на вытесненное влечение. Но вышеупомянутые сновидения травматических невротиков нельзя рассматривать под углом зрения исполнения желания, и в такой же малой степени это возможно по отношению ко встречающимся в психоанализе сновидениям, которые воспроизводят воспоминания о психических инфантильных травмах. Они скорее повинуются тенденции к навязчивому повторению, которое подкрепляется в процессе психоанализа далеко не бессознательным желанием – выявить забытое и вытесненное. Таким образом, функция сновидения, заключающаяся в устранении поводов к прекращению сновидения посредством исполнения мешающих ему желаний, оказывается не первоначальной: сновидение могло бы лишь в том случае осилить эти мешающие ему возбуждения, если бы вся психическая жизнь признала бы господство принципа удовольствия. Если же существует «та сторона принципа удовольствия», то вполне можно допустить и некоторую эпоху, предшествующую тенденции исполнения желания во сне.

Это не противоречит более поздней функции сна. Однако, если эта тенденция в чем-либо нарушена, встает следующий вопрос: возможны ли в психоанализе такие сны, которые в интересах психического связывания травматических впечатлений следуют тенденции навязчивого воспроизведения? На это нужно ответить безусловно утвердительно.

По отношению к «военным» неврозам, поскольку это название обозначает нечто большее, чем простое отношение к обстоятельствам этого заболевания, я доказал в другом месте, что они очень легко могли бы быть травматическим неврозом, возникновение которого было облегчено «я» – конфликтом (Ich – Konflikt).

Упомянутый выше факт, что одновременное большое ранение уменьшает посредством большой травмы шансы на возникновение травматического невроза, теперь будет более понятен, особенно если вспомнить о двух обстоятельствах, подчеркнутых психоаналитическим исследованием: во-первых, что механические потрясения должно рассматривать как один из источников сексуального возбуждения (ср. замечания о влиянии качания и езды по железной дороге в «Трех очерках по теории сексуальности»), и, во-вторых, что болезненное и лихорадочное состояние сильно влияет во время своего течения на распределение либидо. Таким образом, механическая сила травмы освобождает то количество сексуального возбуждения, которое действует травматически вследствие недостаточной готовности в виде страха, одновременное же ранение тела при помощи

нарциссического сосредоточения либидо в пострадавшем органе связывает излишек возбуждения.

Известно также, что недостаточно оценено для теории либидо то, что такие тяжелые нарушения в распределении либидо, как меланхолия, могут быть на время ликвидированы посредством какой-либо приводящей органической болезни и что даже состояние вполне развитой Dementia praecox при названных условиях может быть временно задержано и даже возвращено к прежним, менее болезненным состояниям.

## V

Отсутствие защиты от раздражений у воспринимающего внутренние раздражения коркового слоя имеет своим последствием то, что перемещение раздражений получает большое экономическое значение и часто дает повод к нарушениям в экономике организма, которые могут быть сопоставлены с травматическим неврозом. Самыми основными источниками такого внутреннего раздражения служат так называемые влечения организма, которые являются представителями всех действующих сил, возникающих внутри организма и переносимых на психический аппарат; именно они и являются самым важным и самым темным элементом психологического исследования. Пожалуй, мы не найдем слишком смелым предположение, что исходящие из этих влечений действия являются по типу не связанным, а свободно-подвижным, стремящимся к разряду нервным процессом. Самое большое, что мы знаем об этих процессах, дает изучение сновидений. При этом мы обнаружили, что процессы в бессознательных системах коренным образом отличны от процессов (пред-)сознательных, что в бессознательном отдельные заряды энергии легко могут быть целиком перенесены, смещены, сгущены. Если бы то же самое случилось с материалом предсознательного, это привело бы к нелепым результатам; поэтому получаются известные нам странности в явном содержании сновидения, после того как предсознательные остатки дня подверглись переработке, согласно законам бессознательного. Я назвал это свойство таких процессов в бессознательном «первичным» психическим процессом, в отличие от соответствующих нашему нормальному бодрствованию «вторичных» процессов.

Так как все влечения возникают в бессознательных системах, вряд ли будет новым, если, скажем, что они следуют первичному процессу; с другой же стороны, мы имеем мало основания отождествить первичный психический процесс со свободно движущимся зарядом, а вторичный процесс – с изменениями связанного или тонического нервного напряжения Брейера. Задачей более высоких слоев психического аппарата было бы в таком случае связывать достигающие его влечения, которые возникли в «первичном» процессе. Неудача этого связывания вызвала бы нарушение, аналогичное травматическому неврозу; только если последовало бы такое связывание, стало бы возможным беспрепятственное продолжение господства принципа удовольствия и его модификации – принципа реальности. Но до тех пор выступала бы на первое место другая задача психического аппарата, состоящая в овладении возбуждением или связывании его и, собственно, не противоречащая принципу удовольствия, но не зависящая от него, часто даже не имеющая его в виду.

Проявления навязчивого повторения, которые мы встретили в психической жизни раннего детства и в случаях из психоаналитической практики, отличаются непреодолимым, а там, где находятся в противоречии с принципом удовольствия, «демоническим» характером. Мы полагаем, что в детской игре ребенок повторяет даже неприятные переживания, так как он благодаря своей активности значительно лучше овладевает сильным впечатлением, чем это возможно при обыкновенном пассивном переживании. Каждое новое воспроизведение стремится как будто бы закрепить желанное овладение, и даже при приятных переживаниях ребенок не может насытиться этими повторениями и будет упрямо настаивать на повторении тех же впечатлений. Эта черта характера должна впоследствии исчезнуть. Услышанная во второй раз острота пройдет почти незамеченной, театральное представление никогда не

доставит такого впечатления во второй раз, которое оно произвело в первый; взрослого трудно заставить тотчас же перечитать даже ту книгу, которая очень понравилась. Всегда условием удовольствия будет его новизна. Ребенок же не устанет требовать повторения показанной ему взрослым игры, пока тот не откажет ему окончательно, и, если ему рассказали интересную сказку, ему хочется слышать все снова и снова эту сказку вместо новой; он настаивает беспрестанно на повторении| того же самого и исправляет всякое изменение, которое вставляет рассказчик для того, чтобы внести разнообразие. При этом здесь нет противоречия принципу, удовольствия; бросается в глаза, что это повторение, нахождение того же самого составляет само по себе источник удовольствия. Наоборот, у подвергаемого анализу кажется ясным, что навязчивое повторение в перенесении отношений его инфантильного периода, во всяком случае, выходит за пределы принципа удовольствия. Больной при этом ведет себя как ребенок и показывает нам, что вытесненные следы воспоминаний о его ранних переживаниях находятся в нем не в связанном состоянии, а также до известной степени не способны к переходу во вторичный процесс. Этому свойству обязаны они своими способностями образовывать посредством присоединения к следам дневных переживаний проявляющиеся во сне фантазии исполнения желаний. Это навязчивое повторение часто является для нас препятствием в терапевтической работе, когда мы в конце лечения хотим провести отрешение от лечащего врача, и нужно предположить, что тайная болезнь у людей, не посвященных в анализ, которые боятся пробудить что-либо, что, по их мнению, лучше оставить в спящем состоянии, имеет в основе именно страх перед наступлением такой демонической навязчивости.

Каким же образом связаны между собой влечения и навязчивое повторение? Здесь мы приходим к мысли, что мы набрали на следы самого характера этих влечений, возможно, даже всей органической жизни, до сих пор бывших для нас неясными или, во всяком случае, недостаточно подчеркнутыми. Влечение с этой точки зрения можно было бы определить как наличное в живом организме стремление к восстановлению какого-либо прежнего состояния, которое под влиянием внешних препятствий живое существо принуждено было оставить, в некотором роде органическая эластичность или, если угодно, выражение косности в органической жизни.

Это определение влечения звучит странно, так как мы привыкли видеть во влечении момент, стремящийся к изменению и развитию, и должны теперь признать как раз противоположное, выражение консервативной природы живущего. С другой стороны, нам попадаются очень часто примеры из жизни животных, которые как будто бы подтверждают историческую обусловленность влечений.

Если некоторые рыбы во время метания икры предпринимают трудные путешествия, чтобы отложить икру в известных водах, весьма удаленных от их обычного пребывания, то, по мнению многих биологов, они отыскивают лишь прежние места, которые они в течение времени переменили на другие. То же относится и к странствованию перелетных птиц; но поиски дальнейших примеров указывают нам очень скоро, что в феноменах наследственности и фактах эмбриологии мы имеем великолепные примеры органического «навязчивого повторения». Мы видим, что зародыш животного принужден повторить в своем развитии структуру всех тех форм, пусть даже в беглом и укороченном виде, от которых происходит это животное, вместо того чтобы поспешить кратчайшим путем к его конечному образу; это обстоятельство мы можем объяснить механически лишь в незначительной степени и не должны оставлять в стороне историческое объяснение. Таким же образом далеко в историю животного мира восходит способность замещения утраченного органа посредством образования взамен другого, совершенно аналогичного.

Следует тут же отметить и то возражение, что, кроме консервативных влечений, которые принуждают к повторениям, есть и такие, которые стремятся дать новые формы и ведут к прогрессу; это возражение должно быть предусмотрено и позже в наших рассуждениях. Однако нам кажется заманчивым проследить до последних выводов то предположение, что все влечения стремятся восстановить прежнее состояние. Пусть это

покажется чересчур «глубокомысленным» или пусть прозвучит мистически, но все же мы стремились к чему-либо подобному. Мы ищем трезвых результатов исследования или основанного на нем рассуждения и стремимся ни к чему другому, как к достоверности.

Если, таким образом, все органические влечения консервативны, приобретены исторически и направлены к регрессу, к восстановлению прежних состояний, то мы должны все последствия органического развития отнести за счет внешних, мешающих и отклоняющих влияний.

Элементарное живое существо с самого своего начала не должно стремиться к изменению, должно постоянно при неизменяющихся условиях повторять обычный жизненный путь. Но ведь в конечном счете именно история развития нашей Земли и ее отношений к Солнцу есть то, что наложило свой отпечаток на развитие организмов. Консервативные органические влечения восприняли каждое из этих вынужденных отклонений от жизненного пути, сохранили их для повторения и должны произвести, таким образом, обманчивое впечатление сил, стремящихся к изменению и прогрессу, в то время как они пытаются достичь прежней цели на старых и новых путях. Однако и эта конечная цель всякого органического стремления могла бы легко быть узнана. Если бы целью жизни было еще никогда не достигнутое ею состояние, это противоречило бы консервативной природе влечений. Скорее здесь нужно было бы искать старое исходное состояние, которое живущее существо однажды оставило и к которому стремится обратно всеми окольными путями развития. Если мы примем как не допускающий исключений факт, что все живущее вследствие внутренних причин умирает, возвращается к неорганическому, то мы можем сказать: целью всякой жизни является смерть, и, наоборот, неживое было раньше, чем живое.

Некогда какими-то совершенно неизвестными силами пробуждены были в неодоушевленной материи свойства живого. Возможно, что это был процесс, подобный тому, каким в известном слое живой материи впоследствии должно было образоваться сознание. Возникшее тогда в неживой перед тем материи напряжение стремилось уравновеситься: это было первое стремление возвратиться к неживому. Тогда живая субстанция могла легко умереть, жизненный путь был, вероятно, короток, направление его было predeterminedено химической структурой молодой жизни. В течение долгого времени живая субстанция могла создаваться все снова и снова и легко могла умирать, пока внешние, определяющие причины не изменились настолько, что принуждали оставшуюся в живых субстанцию ко все большим отклонениям от первоначального жизненного пути и к более сложным окольным путям для достижения цели – смерти. Эти окольные пути к смерти, надежно охраняемые консервативными влечениями, дают нам теперь картину жизненных явлений. Если придерживаться мнения об исключительно консервативной природе влечений, нельзя прийти к другим предположениям о происхождении и цели жизни.

Так же странно, как эти заключения, звучит тогда то, что можно вывести в отношении больших групп влечений, которые мы констатируем за этими жизненными проявлениями организмов.

Положение о существовании влечения к Самосохранению, которое мы приписываем каждому живому существу, состоит в заметном противоречии с утверждением, что вся жизнь влечений направлена на достижение смерти. Рассматриваемые в этом свете влечения к самосохранению, к власти и самоутверждению теоретически сильно ограничиваются; они являются частными влечениями, предназначенными к тому, чтобы обеспечить организму собственный путь к смерти и избежать всех других возможностей возвращения к неорганическому состоянию, кроме имманентных ему. Таким образом, отпадает загадочное стремление организма, как будто не стоящее ни в какой связи ни с чем, самоутвердиться во что бы то ни стало. Остается признать, что организм хочет умереть только по-своему и эти «сторожа жизни» были первоначально слугами смерти. К этому присоединяется парадоксальное утверждение, что живой организм противится самым энергичным образом опасностям, которые не могли помочь ему достичь своей цели самым коротким путем (так сказать, коротким замыканием), но это поведение характеризует только примитивные формы



влечений – в противоположность разумным стремлениям организма.

Но отдадим себе отчет: ведь этого не может быть! Совсем в другом свете покажутся нам тогда сексуальные стремления, для которых учение о неврозах определило особое положение.

Не все организмы подчинены внешнему принуждению, которое стимулировало их все далее идущее развитие. Многим удалось сохранить себя до настоящего времени на своей самой низкой ступени развития; еще теперь живут если не все, то все же многие живые существа, которые должны быть подобны примитивнейшим формам высших животных и растений. Таким же образом не все элементарные органы, составляющие сложное тело высшего организма, проделывают этот путь развития полностью до естественной смерти. Некоторые среди них, например зародышевые клетки, сохраняют, вероятно, первоначальную структуру живой субстанции и к известному времени отделяются от организма, наделенные всеми унаследованными и вновь приобретенными способностями. Вероятно, как раз эти оба свойства дают им возможность и самостоятельного существования. Поставленные в хорошие условия, они начинают развиваться, то есть повторять игру, которой они обязаны своим существованием, и это кончается тем, что одна часть их субстанции продолжает свое развитие до конца, в то время как другая в качестве нового зародышевого остатка снова начинает развитие сначала.

Таким образом, эти зародышевые клетки противодействуют умиранию живой субстанции и достигают того, что нам может показаться потенциальным бессмертием, в то время как это, вероятно, означает лишь удлинение пути к смерти. В высокой степени многозначителен для нас тот факт, что зародышевая клетка укрепляется и вообще становится приспособленной для этой работы посредством слияния с другой, ей подобной и все же от нее отличающейся.

Влечения, имеющие в виду судьбу элементарных частиц, переживающих отдельное существо, старающиеся поместить их в надежное место, пока они беззащитны против раздражений внешнего мира, и ведущие к соединению их с другими зародышевыми клетками и т. д., составляют группу сексуальных влечений. Они в том же смысле консервативны, как и другие, так как воспроизводят ранее бывшие состояния живой субстанции, но они еще в большей степени консервативны, так как особенно сопротивляются внешним влияниям и, далее, еще в более широком смысле, так как они сохраняют саму жизнь на более длительные времена. Они-то, собственно, и являются влечениями к жизни: то, что они действуют в противовес другим влечениям, которые по своей функции ведут к смерти, составляет имеющуюся между ними противоположность, которой учение о неврозах приписывает большое значение. Это как бы замедляющий ритм в жизни организмов: одна группа влечений стремится вперед, чтобы возможно скорее достигнуть конечной цели жизни, другая на известном месте своего пути устремляется обратно, чтобы проделать его снова от известного пункта и удлинить таким образом продолжительность пути. Но если даже сексуальность и различие полов не существовали к началу жизни, то все же остается возможным, что влечения, которые впоследствии стали обозначаться как сексуальные, в самом начале вступили в деятельность и начали свое противодействие игре влечений «я» вовсе не в какой-нибудь более поздний период.

Обратимся же теперь назад, чтобы спросить, не лишены ли все эти рассуждения всякого основания. Нет ли действительно каких-либо других влечений, за исключением сексуальных, кроме тех, которые стремятся к восстановлению прежних состояний, и нет ли таких, которые стремятся к чему-нибудь еще не достигнутому. Я не знаю в органическом мире достоверного примера, который противоречил бы предложенной нами характеристике. Нельзя установить общего влечения к высшему развитию в царстве животных и растений, хотя такая тенденция в развитии фактически бесспорно существует.

Но, с одной стороны, это в большей мере лишь дело нашей оценки, если одну ступень развития мы считаем выше другой, а с другой стороны, наука о живых организмах показывает нам, что прогресс в одном пункте очень часто покупается или уравнивается

регрессом в другом. Имеется также достаточно видов животных, исследование ранних форм которых говорит нам, что их развитие скоро приобретает регрессирующий характер. Прогрессирующее развитие так же, как и регрессирующее, может быть следствием внешних сил, принуждающих к приспособлению, и роль влечений для обоих случаев могла ограничиться тем, чтобы закрепить вынужденное изменение как источник внутреннего удовольствия.

Многим из нас было бы тяжело отказаться от веры в то, что в самом человеке пребывает стремление к усовершенствованию, которое привело его на современную высоту духовного развития и этической сублимации и от которого нужно ожидать, что оно будет содействовать его развитию до сверхчеловека. Но я лично не верю в существование такого внутреннего стремления и не вижу никакого смысла щадить эту приятную иллюзию. Препрежнее развитие человека кажется мне не требующим другого объяснения, чем развитие животных, и то, что наблюдается у небольшой части людей в качестве постоянного стремления к дальнейшему усовершенствованию, легко становится понятным как последствие того вытеснения влечений, на котором построено самое ценное в человеческой культуре. Вытесненное влечение никогда не перестает стремиться к полному удовлетворению, которое состоит в повторении в первый раз пережитого удовлетворения; все замещения, реактивные образования и сублимация недостаточны, чтобы прекратить его сдерживаемое напряжение, и из разности между полученным и требуемым удовольствием от удовлетворения влечения возникает побуждающий момент, который и не позволяет останавливаться ни на одной из представляющихся ситуаций, но, по словам поэта, «стремится неудержимо все вперед» (Мефистофель в «Фаусте», I, кабинет Фауста). Путь назад к полному удовлетворению, как правило, закрыт препятствиями, которые поддерживают вытеснение, и, таким образом, не остается ничего другого, как идти вперед, по другому, еще свободному пути развития, во всяком случае, без видов на завершение этого процесса и достижение цели. Процессы при образовании невротической фобии, которые суть не что иное, как попытка к бегству от удовлетворения влечения, дают нам прообраз возникновения этого кажущегося «стремления к усовершенствованию», которое мы, однако, не можем приписать всем человеческим индивидуумам.

Хотя динамические условия для этого и имеются повсюду, но экономические обстоятельства только в редких случаях могут способствовать этому феномену.

Одним словом, весьма правдоподобно, что стремление Эроса связывать органическое во все большие единства выполняет роль заместителя не признаваемого нами «влечения к усовершенствованию». Вместе с влиянием вытеснения оно могло бы объяснить приписываемые последнему феномены.

## VI

Получаемые нами результаты, которые устанавливают резкую противоположность между влечениями «я» и сексуальными влечениями, сводя первые к смерти, а последние к сохранению жизни, во многом нас, наверное, не удовлетворят. К этому надо присоединить то, что консервативный или, вернее, регрессирующий характер влечения, соответствующий навязчивому повторению, мы допускаем, собственно, только для первых, ибо, по нашему предположению, влечения «я» непосредственно восходят к возникновению жизни в неживой материи и имеют тенденцию снова вернуться к неорганическому состоянию. Напротив, относительно сексуальных влечений бросается в глаза, что они репродуцируют примитивные состояния живого существа, но преследуемая ими всеми способами цель состоит в соединении двух Дифференцированных известным образом зародышевых клеток. Если это соединение не происходит, тогда зародышевая клетка умирает, подобно всем другим элементам многоклеточного организма. Только при условии соединения их половая функция может продолжать жизнь и придать ей видимость бессмертия. Однако каков же этот важный момент в процессе развития живой субстанции, который повторяется посредством полового

размножения или его предвестника – копуляции индивидуумов среди протистов?

На это мы не можем ответить, и потому для было бы облегчением, если бы все наше построение оказалось ошибочным. Противоположность влечений «я» (к смерти) и влечений сексуальных (к жизни) отпала бы тогда, а вместе с этим ограничилось бы и значение, приписываемое навязчивому повторению.

Поэтому вернемся к одной из затронутых нами гипотез в ожидании, что ее можно будет целиком опровергнуть. Исходя из нашего предположения, мы сделали выводы, что все живущее должно вследствие внутренних причин умереть. Мы сделали это предположение так беспечно именно потому, что его смысл представляется нам совсем иным. Мы привыкли так мыслить, наши поэты укрепляют нас в этом. Мы, возможно, решились на это потому, что в этом веровании таится утешение. Если уж суждено самому умереть и потерять перед тем своих любимых, то все же хочется скорее подчиниться неумолимому закону природы, величественной А????, чем случайности, которая могла бы быть избегнута.

Но, может быть, эта вера во внутреннюю закономерность смерти также лишь одна из иллюзий, созданных нами, «чтобы вынести тяжесть существования»? Во всяком случае, это верование не первоначально, первобытным народам чужда идея о «естественной» смерти; они приписывают каждый смертный случай влиянию врага или какого-либо злого духа. Поэтому мы должны обратиться для проверки этого верования к научной биологии.

Если мы поступим таким образом, мы будем удивлены, узнав, как расходятся биологи в вопросе о естественной смерти и что у них понятие о смерти вообще остается неуловимым. Факт определенной средней продолжительности жизни, по крайней мере у высших животных, говорит, конечно, за внутренние причины смерти, но то обстоятельство, что отдельные большие животные и колоссальные деревья достигают очень высокого и до сих пор не определенного возраста, разбирает снова это впечатление. Согласно концепции В. Флиса, все проявления жизни организмов – также и смерть в том числе – связаны с известными сроками, среди которых выделяется зависимость двух живых существ – мужского и женского – от солнечного года. Но наблюдения главным образом за растениями, показывающие, насколько легко и в каких пределах внешние влияния могут изменять проявления жизни в их временной смене, то есть ускорять их или задерживать, противятся сухим формулам Флиса и заставляют по крайней мере усомниться в том, что существуют только одни выдвинутые им законы.

Самый большой интерес вызывает исследование продолжительности жизни и смерти организмов в работах А. Вейсмана.

К этому исследованию восходит разделение живущей субстанции на смертную и бессмертную половину; смертная – это тело в узком смысле, сома, подверженная естественной смерти; зародышевые же клетки потенциально бессмертны, поскольку они в состоянии при известных благоприятных обстоятельствах развиться в новый индивидуум или, иначе выражаясь, окружить себя новой сомой.

Что нас здесь привлекает – это неожиданная аналогия с нашим собственным определением, возникшим на совершенно ином пути. Вейсман, рассматривающий живую субстанцию с точки зрения морфологической, находит в ней составную часть, подверженную смерти, сому, тело, независимо от пола и наследственности, а также часть бессмертную, именно эту зародышевую плазму, которая служит для сохранения вида, для размножения.

Мы уже рассматривали не саму живую материю, но действующие в ней силы и пришли отсюда к различению двух родов влечений, таких, которые ведут жизнь к смерти, и других, а именно сексуальных влечений, которые постоянно стремятся к обновлению жизни. Это звучит в качестве динамического коррелята к морфологической теории Вейсмана.

Но видимость этого совпадения быстро улечивается, когда мы знакомимся с разрешением Вейсманом проблемы смерти. Ведь Вейсман допускает различие смертной сомы от бессмертной зародышевой плазмы лишь у многоклеточных организмов, а у одноклеточных животных индивид и клетка, служащая для продолжения рода, по его

мнению, есть то же самое. Таким образом, он рассматривает одноклеточные как потенциально бессмертные, смерть наступает лишь у Metazoa (многоклеточных). Эта смерть высших живых существ есть естественная смерть от внутренних причин, но она опирается не на исходные свойства живой субстанции, не может быть понята как абсолютная необходимость, обоснованная сущностью жизни. Смерть есть больше признак целесообразности, проявление приспособляемости к внешним условиям жизни, так как при разделении клеток тела на сому и зародышевую плазму неограниченная продолжительность жизни индивидуума была бы совершенно нецелесообразной роскошью.

С наступлением этой дифференцировки у многоклеточных смерть стала возможной и целесообразной. С этой стадии сома высших организмов умирает вследствие внутренних причин к определенному времени, простейшие же остались бессмертными. Напротив, размножение введено было не со смертью, а представляет собой первобытное свойство живой материи, как, например, рост, из которого оно произошло, и жизнь осталась на Земле с самого своего начала непрерывной.

Легко заметить, что признание естественной смерти для высших органов мало помогает разрешению нашего вопроса. Если смерть есть лишь позднейшее приобретение живых существ, то влечения к смерти, которые восходят к самому началу жизни на Земле, опять остаются без внимания. Многоклеточные могут умирать от внутренней причины, от недостатков обмена веществ; для вопроса, который нас интересует, это не имеет значения.

Такое понимание происхождения смерти лежит гораздо ближе к обыкновенному мышлению человека, чем странная гипотеза о «влечениях к смерти».

Дискуссия, поднятая теорией Вейсмана, по-моему, не достигла решения ни в каком отношении.

Некоторые авторы вернулись к точке зрения Гётте (1883), который видел в смерти прямое следствие размножения.

Гартман считает характерным для смерти не появление «трупа», этой отмершей части живой субстанции, а определяет ее как «окончание индивидуального развития».

В этом смысле смертны и Protozoa, смерть совпадает у них с размножением, но этим она известным образом замаскировывается у них, так как субстанция производящего животного непосредственно переводится в субстанцию молодого потомка.

Интерес исследования вскоре устремился к экспериментальному выяснению этого утверждаемого бессмертия живой субстанции на одноклеточных. Американец Вудрефф воспитал ресничную инфузорию-туфельку, которая размножается посредством деления на два индивидуума, и проследил до 3029-й генерации, на которой он прервал этот опыт; каждый раз он изолировал одну из отделившихся частиц и помещал в свежую воду. Этот поздний потомок первой «туфельки» был так же свеж, как его предок, без всяких следов состаривания или вырождения. Этим, казалось, экспериментально может быть доказано (если эти числа достаточно доказательны) бессмертие протистов.

Другие исследователи пришли к иным результатам.

Мопа, Колкинс и др. в противоположность Вудреффу нашли, что и эти инфузории после определенного числа делений становятся слабее, убывают в величине, теряют часть своего тела и в конце концов умирают, если не получают каких-либо особых освежающих влияний.

Согласно этому, Protozoa умирали после известной фазы старости совершенно так же, как и высшие животные, в противоположность утверждению Вейсмана, который считает смерть лишь более поздним приобретением живых организмов.

Из сопоставления этих исследований мы выводим два факта, которые кажутся нам имеющими твердую основу. Во-первых, если эти животные в определенный момент, когда еще не проявляют признаков старости, сливаются между собой по двое, копулируют, после чего они через некоторое время снова разъединяются, то они избегают старости, они, так сказать, омолаживаются. Эта копуляция есть предвестник полового продолжения рода высших существ; она еще не имеет ничего общего с размножением, ограничивается

смешением субстанций обоих индивидуумов (амфимиксис Вейсмана). Освежающее влияние копуляции может быть также заменено определенными раздражающими средствами, изменениями в составных частях питательной среды, в температуре или сотрясением. Нужно вспомнить об известном опыте Ж. Лёба, который вызывал у яиц морского ежа посредством химических раздражителей явления деления, наступающие обыкновенно только после оплодотворения.

Во-вторых, весьма вероятно, что инфузорий ведут к смерти их собственные жизненные процессы, так как противоречие между результатами Вудреффа и другим происходит оттого, что Вудрефф помещал каждую новую генерацию в свежую питательную жидкость. Если бы он этого не делал, он наблюдал бы те же старческие изменения генераций, как и другие исследователи. Он сделал вывод, что этим маленьким животным вредят продукты обмена веществ, которые они отдают окружающей жидкости, и мог убедительно доказать, что только продукты собственного обмена веществ оказывают действие, ведущее к смерти генерации, ибо эти животные созревали великолепно в растворе, который был насыщен продуктами распада отдаленного родственного вида, и безусловно вымирали, собранные в своей собственной питательной жидкости. Таким образом, инфузория умирает, предоставленная сама себе, естественной смертью) вследствие несовершенства в устранении своих собственных продуктов обмена веществ; но, может быть, и высшие животные умирают в основном вследствие такого же недостатка.

Для нас может вообще стать сомнительным, имеет ли смысл искать разрешения вопроса о естественной смерти в изучении Protozoa.

Примитивная организация этих существ может затуманить весьма важные обстоятельства, которые хотя и имеются у них, но обнаруживаются лишь у высших животных, когда они достигли морфологической выраженности.

Если мы оставим морфологическую точку зрения и примем динамическую, то нам может вообще стать безразличным, можно ли доказать естественную смерть Protozoa или нет. Субстанция, которую впоследствии выделяют как бессмертную, ни в какой мере не отделена у них от умирающей. Силы влечений, переводящие жизнь в смерть, могут с самого начала действовать в них, и все же их эффект может быть скрыт сохраняющими жизнь силами, так что прямое распознавание первых становится очень трудным.

Во всяком случае, мы слышали, что наблюдения биологов позволяют нам принять такие внутренние процессы, ведущие к смерти, и для протистов. Но если даже протисты оказываются бессмертными в смысле Вейсмана, то его утверждение, что смерть есть позднее приобретение, остается в силе лишь для явных проявлений смерти и не делает невозможным допущение о тенденциях, влекущих к смерти. Наше ожидание, что биология легко устранил признание влечений к смерти, не оправдалось.

Мы можем продолжать выяснять эту возможность, если мы вообще имеем для этого основание. Удивительное сходство вейсмановского разделения на сому и зародышевую плазму с нашим делением на влечения к смерти и к жизни остается и получает снова свое значение.

Остановимся вкратце на этом резко дуалистическом понимании жизни влечений. По теории Э. Геринга о процессах в живой субстанции, в ней происходят непрерывно два рода процессов противоположного направления, одни созидательного, ассимиляторного, другие разрушающего, диссимиляторного типа. Должны ли мы попытаться узнать в этих обоих направлениях жизненных процессов работу наших обоих влечений – влечения к жизни и влечения к смерти? Но мы не можем скрыть и того, что мы нечаянно попали в гавань философии Шопенгауэра, для которого смерть есть «собственный результат» и, следовательно, цель жизни, а сексуальное влечение воплощает волю к жизни.

Попробуем сделать смелый шаг дальше. По общему мнению, соединение многочисленных клеток в одну жизненную систему, многоклеточность организмов стали средством удлинения продолжительности жизни. Одна клетка служит поддержанию жизни другой, и клеточное государство может продолжать существовать, если даже отдельные

клетки и должны отмирать.

Мы уже слышали, что копуляция, это временное слияние двух одноклеточных, влияет в сохраняющем омолаживающем смысле на обе клетки. Посредством этого можно было бы сделать опыт: перенести выработанную психоанализом теорию либидо на взаимоотношения клеток друг к другу и представить себе, что именно жизненные или сексуальные влечения в каждой клетке берут другие клетки в качестве своих объектов и их влечения к смерти, вернее, вызываемые этими влечениями процессы частично нейтрализуются и, таким образом, сохраняют им жизнь, в то время как другие клетки в свою очередь действуют так же по отношению к первым, а третьи жертвуют собой для выполнения этой либидозной функции. Зародышевые клетки должны были вести себя «нарциссически», как мы привыкли выражаться в учении о неврозах, если весь индивидуум сохраняет свое либидо в себе и ничего не расходует из него на внешние объекты. Зародышевые клетки употребляют свое либидо, деятельность своих жизненных влечений для себя самих, в качестве запаса для их последующей высокотворческой деятельности. Возможно, что и клетки злокачественных новообразований, разрушающих организм, нужно объяснить в том же смысле нарциссически. Патология склоняется к тому, чтобы считать их происхождение врожденным, и приписывает им эмбриональные свойства. Таким образом, либидо наших сексуальных влечений совпадает с Эросом поэтов и философов, который охватывает все живущее.

Здесь мы встречаем повод для обозрения постепенного развития нашей теории либидо. Анализ неврозов перенесения сначала побуждал нас подчеркнуть противоположность между сексуальными влечениями, которые были направлены на объект, и другими, весьма мало распознанными нами и пока обозначенными как влечения «я». Между ними в первую очередь нужно указать на влечения, которые служат для самосохранения индивидуума. Трудно было установить, какие еще другие подразделения нужно было внести сюда. Никакое знание не было столь важным для обоснования научной психологии, как приблизительное понимание общей природы и некоторых особенностей влечений, но ни в одной из областей психологии мы не действовали до такой степени в потемках. Каждый выставлял столько влечений, или «основных влечений», сколько ему нравилось, и распоряжался ими, как старые греческие натурфилософы своими четырьмя элементами: водой, землей, огнем и воздухом.

Психоанализ, не успевший выдвинуть какую-либо теорию влечений, примкнул сначала к популярному различению влечений, для которого прообразом были слова о «голоде и любви». Это не было по крайней мере новым актом произвола. С этим мы обходились долгое время в анализе психоневрозов. Понятие «сексуальности» и вместе с тем сексуального влечения должно было, конечно, быть расширено, пока оно не включило в себя многое, что не подчинялось функциям продолжения рода, и это наделало много шума в чопорных и лицемерных кругах.

Следующий шаг последовал тогда, когда психоанализ ближе подошел к психологическому понятию «я», которое сначала стало известным как инстанция, вытесняющая, цензурирующая и способная к созданию защитных реактивных образований. Критические и дальновидные умы уже давно, правда, восстали против ограничения понятия «либидо» энергией сексуальных влечений, обращенных на объект. Но они позабыли сообщить, откуда они приобрели более верный взгляд, и не смогли извлечь что-либо нужное из этого для анализа. При дальнейшем развитии мысли психоаналитическому наблюдению бросилось в глаза, как постоянно либидо отклоняется от объекта и направляется на само «я» (интроверсия), и, изучая развитие либидо у ребенка в его ранних стадиях, оно пришло к убеждению, что «я» и является собственным и первоначальным резервуаром либидо, которое лишь отсюда распространяется на объект. «Я» выступило среди сексуальных объектов и признано было сейчас же самым важным между ними. Если либидо пребывало таким образом в «я», то оно называлось нарциссическим. Это нарциссическое либидо было также выражением силы сексуальных влечений в аналитическом смысле, которое мы должны были

отождествить с признанными с самого начала влечениями к самосохранению. Благодаря этому оказалась недостаточной первоначальная противоположность между влечениями «я» и сексуальными влечениями. Часть влечений «я» была признана либидозной; в «я», вероятно, среди других действовали и сексуальные влечения. Однако нужно все же признать, что старая формула, гласящая, что психоневроз основывается на конфликте между влечениями «я» и сексуальными влечениями, не содержала ничего такого, что теперь можно было бы отбросить. Различие двух видов влечений, которое с самого начала мыслилось качественно, теперь трактуется иначе, а именно топически. В особенности невроз перенесения, собственный предмет психоанализа, остается результатом конфликта между «я» и либидозной привязанностью к объекту.

Тем более мы должны теперь подчеркнуть либидозный характер влечений к самосохранению, ибо мы решаемся сделать следующий шаг, а именно рассматривать сексуальные влечения как Эрос, сохраняющий все, и вывести нарциссическое либидо «я» из частичек либидо» которыми связаны друг с другом соматические клетки.

Теперь перед нами встает неожиданно следующий вопрос: если и влечения к самосохранению имеют либидозную природу, то, может быть, вообще мы не имеем других влечений, кроме либидозных. По крайней мере никаких других мы не видим. Но тогда нужно согласиться с критиками, которые с самого начала думали, что психоанализ объясняет все из сексуальности, или с новыми критиками, такими, как Юнг, которые решили употреблять понятие «либидо» для обозначения вообще «силы влечений». Не так ли?

Этот результат был, во всяком случае, не нашим намерением, мы скорее исходили из резкого разделения между влечениями «я» – влечениями к смерти и сексуальными влечениями – влечениями к жизни. Мы были даже готовы считать так называемые влечения «я» к самосохранению влечениями к смерти, от чего мы сейчас вынуждены будем воздержаться. Наше представление было с самого начала дуалистическим, и теперь оно стало им еще резче, чем раньше, с тех пор как мы усматриваем противоположность не между влечениями «я» и сексуальными, а между влечениями к жизни и влечениями к смерти. Напротив, теория либидо Юнга монистична; нас должно было спутать то обстоятельство, что он назвал именем «либидо» единую «силу влечения»; однако это не должно нас смущать больше. Мы предполагаем, что в «я» действуют еще другие влечения, кроме либидозных влечений к самосохранению, но мы должны быть в состоянии их выявить. Остается пожалеть, что еще так мало развит анализ «я», что для нас так трудно это обнаружение. Либидозные стремления «я» могут, во всяком случае, быть связаны особым образом с другими, для нас еще неизвестными влечениями «я». Еще прежде, чем мы познакомились с нарциссизмом, в психоанализе существовало уже предположение, что влечения «я» привлекли к себе либидозные компоненты. Но это еще довольно неясные возможности, с которыми противники едва ли могли бы считаться. Остается минусом, что анализ давал нам до сих пор возможность изучать только либидозные влечения. Мы не можем, однако, сделать вывод, что другие влечения не существуют.

При современной неясности в учении о влечениях мы едва ли поступим хорошо, отвергнув какое-либо обстоятельство, обещающее нам разъяснение. Мы исходили из коренной противоположности между влечениями к жизни и смерти. Сама любовь к объекту показывает нам другую такую же полярность между любовью (нежностью) и ненавистью (агрессивностью). Если бы нам удалось привести обе эти полярности в соотношение друг с другом, свести одну к другой. Мы уже давно признали садистский компонент сексуального влечения. Он, как мы знаем, может стать самостоятельным и главенствовать в качестве извращения всего сексуального влечения данного лица. Он выступает также в качестве доминирующего частного влечения в одной из организаций, названной мною «прегенитальной». Но как можно вывести садистское влечение, которое направлено на причинение вреда объекту, из поддерживающего жизнь Эроса? Не возникает ли здесь предположение, что этот садизм есть, собственно, влечение к смерти, которое оттеснено от «я» влиянием нарциссического либидо, так что оно проявляется лишь направленным на

объект? Оно начинает тогда обслуживать сексуальную функцию; в стадии оральной организации либидо любовное обладание совпадает с уничтожением объекта, впоследствии садистские стремления отделяются и, наконец, в стадии примата гениталий берут на себя, имея в виду цели продолжения рода, функцию проявлять насилие над сексуальным объектом, поскольку этого требует совершение полового акта. Больше того, можно было бы сказать, что оттесненный из «я» садизм открыл путь либидозным компонентам сексуального влечения, именно потому они начинают стремиться к объекту. Там, где первоначальный садизм не умеряется и не сливается с ними, получается амбивалентность любви-ненависти в любовной жизни.

Если такое предположение было бы допустимо, было бы исполнено требование привести пример такого – хотя и вытесненного – влечения к смерти. Но определение это лишено всякой наглядности и производит поэтому слишком мистическое впечатление. Мы приходим к необходимости найти выход из этого затруднения во что бы то ни стало. Здесь мы должны вспомнить, что такое предположение не ново, что мы уже раз сделали его прежде, когда еще не было речи ни о каком затруднении. Клинические наблюдения понудили нас в свое время сделать вывод, что дополняющее садизм частное влечение мазохизма следует понимать как обращение садизма на собственное «я». Перенесение влечения объекта на «я» принципиально ничем не отличается от перенесения с «я» на объект, о котором возникает как бы новый вопрос.

Мазохизм, обращение влечения против собственного «я», в действительности был бы возвращением к более ранней фазе, регрессом. В одном пункте данное тогда мазохизму определение нуждается в исправлении как слишком исключаящее; о чем я тогда пытался спорить – мазохизм мог бы быть и первичным влечением.

А. Штерке (*Inleiding by de vertraling, von S.Freud, De sexuele beschavingsmoral etc., 1914*) пытался в другом роде отождествить понятие «либидо» с теоретически предполагаемым биологическим понятием влечения к смерти (ср. также: Rank. *Der Kunstler*). Все эти попытки, как и сделанные в тексте, показывают стремление к еще не достигнутой ясности в учении о влечениях.

Однако вернемся к влечениям, поддерживающим жизнь. Уже из исследования о протистах мы узнали, что слияние двух индивидуумов без последующего деления (копуляция) влияет укрепляющим и омолаживающим образом на оба индивидуума, которые вслед за тем отделяются друг от друга. В последующих поколениях они не выявляют следов дегенеративности и кажутся способными дальше сопротивляться вреду, приносимому их собственным обменом веществ. Я полагаю, что одно это последнее должно служить прообразом и для эффекта соединения. Но каким образом приносит слияние двух малоразличающихся клеток такое обновление жизни? Опыт, который заменяет копуляцию у Protozoa посредством влияния химических и даже механических раздражений, позволяет дать достоверный отчет: это происходит посредством доставления новых количеств раздражения. Это хорошо согласуется с тем предположением, что жизненный процесс индивидуума из внутренних причин ведет к уравниванию химических напряжений, то есть к смерти, в то время как слияние с индивидуально-отличной живой субстанцией увеличивает эти напряжения, вводит, так сказать, новые жизненные разности, которые еще должны после изживаться. Для такого различия должны, конечно, существовать один или несколько оптимумов. То, что мы признали в качестве доминирующей тенденции психической жизни, может быть, всей нервной деятельности, а именно стремление к уменьшению, сохранению в покое, прекращению внутреннего раздражающего напряжения (по выражению Барбары Лоу, «принцип нирваны»), как это находит свое выражение в принципе удовольствия, является одним из наших самых сильных мотивов для уверенности в существовании влечений к смерти.

Но мы все еще ощущаем чувствительную помеху для нашего хода мыслей в том отношении, что мы не можем доказать как раз для сексуального влечения такого характера навязчивого повторения, который нас навел сначала на мысль о наличии следов влечения к



смерти; правда, область эмбриональных процессов развития весьма богата такими явлениями повторения, обе зародышевые клетки полового размножения и история их жизни суть сами только повторение начала органической жизни; но главное в процессах, возбужденных сексуальным влечением, есть слияние двух клеточных тел. Лишь посредством этого достигается бессмертие живой субстанции у высших живых существ.

Другими словами, нам надо вообще узнать о происхождении полового размножения и генезе сексуальных влечений – задача, которой посторонний должен испугаться и которая до сих пор еще не разрешена специальными исследованиями. В теснейшем столкновении этих противоречивых данных и мнений должно быть выявлено, какой вывод можно сделать из всего ход наших мыслей.

Одно определение придает проблеме размножения раздражающую таинственность: это точка зрения, представляющая продолжение рода в качестве частичного проявления роста. (Размножение посредством деления, пускания ростков и почкования.) Происхождение размножения посредством дифференцированных в половом отношении зародышевых клеток можно было бы, по трезвому дарвиновскому образу мышления, представить так, что преимущества амфимиксиса, который получился когда-то при случайной копуляции двух протистов, заставили его удержаться в дальнейшем развитии и быть использованным дальше.

«Пол» при этом оказывается не слишком древнего происхождения, и весьма сильные влечения, которые ведут к половому соединению, повторяют при этом то, что случайно раз произошло и укрепились как оказавшееся полезным.

Здесь так же, как и при рассуждении о смерти, возникает вопрос, нужно ли признавать за протистами только то, что они открыто обнаруживают, или нужно принять, что у них возникают и те процессы и силы, которые становятся видимыми лишь у высших животных существ. Это упомянутое понимание сексуальности очень мало говорит в пользу наших мыслей. Против него можно было бы возразить, что оно предполагает существование влечений к жизни, действующих уже в простейшем живом существе, так как иначе копуляция, противодействующая естественному течению жизненных процессов и затрудняющая задачу отмирания, не удержалась бы и не подвергалась бы развитию, а избегалась бы. Если мы не стремимся оставить предположение о влечениях к смерти, нужно прежде всего присоединить их к влечениям жизни. Но следует признать, что мы имеем здесь дело с уравнением с двумя неизвестными. Те данные, которые мы находим в науке относительно возникновения пола, так незначительны, что проблему эту можно сравнить с потемками, куда не проник ни один луч гипотезы. Совсем в другом месте мы встречаемся все же с подобной гипотезой, однако она так фантастична и, пожалуй, скорее является мифом, чем научным объяснением, что я не решился бы привести ее, если бы она как раз не удовлетворяла тому условию, к использованию которого мы стремимся. Она выводит влечение из потребности в восстановлении прежнего состояния.

Я разумею, конечно, теорию, которую развивает Платон в «Пире» устами Аристофана и которая рассматривает не только происхождение полового влечения, но и его главнейшие вариации в отношении объекта.

«Человеческая природа была когда-то совсем другой. Первоначально было три пола, а не два, как теперь, рядом с мужским и женским существовал третий пол, имевший равную долю от каждого из двух первых...» «Все у этих людей было двойным, они, значит, имели четыре руки, четыре ноги, два лица, двойные половые органы и т. д. Тогда Зевс разделил каждого человека на две части, как разрезают груши пополам, чтобы они лучше сварились... Когда, таким образом, все естество разделилось пополам, у каждого человека появилось влечение к его второй половине, и обе половины снова обвили руками одну другую, соединили свои тела и захотели снова срастись».

Такая зависимость, переданная через пифагорейцев, вряд ли отняла бы что-либо от значительности этого совпадения мыслей, так как Платон не присвоил бы себе такое предание, принесенное ему с Востока, уже не говоря о том, что он не придал бы ему такого

важного значения, если бы оно ему самому не показалось правдоподобным.

В одном из сочинений К. Циглера, «Menschen und Weltenwerden» (Neue Jahrbucher f. das Klassische Altertum, Bd. 31, Sonderabdr., 1913), который занимается систематическим исследованием этой спорной идеи до Платона, она относится к вавилонским мифам.

Должны ли мы вслед за поэтом-философом принять смелую гипотезу, что живая субстанция была разорвана при возникновении жизни на маленькие частицы, которые стремятся к вторичному соединению посредством сексуальных влечений? Что эти влечения, в которых находит свое продолжение химическое сродство неодушевленной материи, постепенно через царство протистов преодолевают трудности, ибо этому средству противостоят условия среды, заряженной опасными для жизни раздражениями, понуждающими к образованию защитного коркового слоя? Что эти разделенные частицы живой субстанции достигают, таким образом, многоклеточности и передают, наконец, зародышевым клеткам влечение к воссоединению снова, в высшей концентрации? Я думаю, на этом месте нужно оборвать рассуждения.

Но не без того, чтобы заключить несколькими словами критического свойства. Меня могли бы спросить, убежден ли я сам и в какой мере в развитых здесь предположениях. Ответ гласил бы, что я не только не убежден в них, но и никого не стараюсь склонить к вере в них. Правильнее: я не знаю, насколько я в них верю. Мне кажется, что эффективный момент убеждения вовсе не должен приниматься здесь во внимание. Ведь можно отдаться ходу мыслей, следовать за ним, куда он ведет, исключительно из научной любознательности или, если угодно, как «advocatus diaboli», который из-за этого сам все же не продается черту.

Я не отрицаю, что третий шаг в учении о влечениях, который я здесь предпринимаю, не может претендовать на ту же достоверность, как первые два, а именно расширение понятия сексуальности и установления нарциссизма. Эти открытия были прямым переводом на язык теории наблюдений, связанных не с большими источниками ошибок, чем те, которые неизбежны во всех таких случаях. Утверждение регрессивного характера влечений покоится, во всяком случае, также на исследуемом материале, а именно на фактах навязчивого повторения. Но я, может быть, переоценил их значение. Построение этой гипотезы возможно, во всяком случае, не иначе как с помощью комбинации фактического материала с чистым размышлением, удаляясь при этом от непредвиденного наблюдения.

Известно, что конечный результат тем менее надежен, чем чаще это делается в процессе построения какой-либо теории, но степень ненадежности этим еще не определяется. Здесь можно счастливо угадать, но и позорно впасть в ошибку. Так называемой интуиции я мало доверяю при такой работе; в тех случаях, когда я ее наблюдал, она казалась мне скорее следствием известной беспринципности интеллекта. Но, к сожалению, редко можно быть беспристрастным, когда дело касается последних вопросов, больших проблем науки и жизни. Я полагаю, что каждый одержим здесь внутренне глубоко обоснованными пристрастиями, влиянием которых он бессознательно руководствуется в своем размышлении. При таких основаниях для недоверия не остается ничего другого, кроме благожелательной сдержанности к результатам собственного мышления. Я только спешу прибавить, что такая самокритика не обязывает к особой терпимости по отношению к иным взглядам. Нужно неукоснительно отвергнуть теории, если анализ их первых шагов противоречит наблюдаемому, и все же при этом можно сознавать, что правильность выдвигаемой взамен теории есть лишь временное явление. В оценке наших рассуждений о влечениях к жизни и смерти нам мало помешает то, что мы встречаем здесь столько странных и скрытых процессов, как, например, то, что одно влечение вытесняется другим или оно обращается от «я» к объекту и т. п. Это происходит лишь оттого, что мы принуждены оперировать с научными терминами, то есть специфическим образным языком психологии (правильнее, глубинной психологии – Tiefenpsychologie).

Иначе мы не могли бы вообще описать соответствующив процессы, не могли бы их даже достигнуть. Недостатки нашего описания, вероятно, исчезли бы, если бы психологические термины мы могли заменять физиологическими или химическими терминами. Они, правда,

тоже относятся к образному языку, но к такому, с которым мы уже давно знакомы и который, пожалуй, более прост для нас.

С другой стороны, мы должны уяснить себе, что неточность наших рассуждений увеличивается в высокой степени вследствие того, что мы принуждены одалживаться у биологии. Биология есть поистине царство неограниченных возможностей, мы можем ждать от нее самых потрясающих открытий и не можем предугадать, какие ответы она даст нам на наши вопросы несколькими десятилетиями позже. Возможно, что как раз такие, что все наше искусное здание гипотез распадется.

Если это действительно так, нас могут спросить, к чему тогда приниматься за такую работу, какая проделана в этой главе, и зачем сообщать о ней. Я не мог, однако, отрицать, что некоторые аналогии, сопоставления и зависимости казались мне все же заслуживающими внимания.

В заключение здесь несколько слов о нашей терминологии, которая в течение этого изложения проделала известное развитие. Что представляют собой «сексуальные влечения», мы знаем из отношения к полу и функции продолжения рода. Мы сохранили это название и тогда, когда были вынуждены данными психоанализа отвергнуть их обязательное отношение к продолжению рода. С указанием на существование нарциссического либидо и на распространение его на отдельную клетку у нас сексуальное влечение превратилось в Эрос, который старается привести друг к другу части живой субстанции и держать их вместе, а собственно сексуальные влечения выявились как части Эроса, обращенные на объект. Размышление показывает, что этот Эрос действует с самого начала жизни и выступает как «влечение к жизни», в противовес «влечению к смерти», которое возникло с зарождением органической жизни. Мы пытаемся разрешить загадку жизни посредством принятия этих обоих борющихся между собой испокон веков влечений. Менее наглядно, пожалуй, превращение, которое испытало понятие влечений «я». Первоначально мы назвали таким именем все малоизвестные нам направления влечений, которые удалось отделить от сексуальных влечений, направленных на объект, и поставили влечения «я» в противовес сексуальным влечениям, выражение которых заключается в либидо. Впоследствии мы подошли к анализу «я» и нашли, что и часть влечений «я» – либидозной природы и что они лишь избрали собственное «я» в качестве объекта. Эти нарциссические влечения к самосохранению должны были быть теперь причислены к либидозным сексуальным влечениям. Противоположность между влечениями «я» и сексуальными превратилась в противоположность между влечениями «я» и влечениями к объекту (то и другое – либидозной природы). На ее место выступила новая противоположность: между либидозными влечениями к «я» и к объекту и другими влечениями, которые обосновываются в «я» и которые можно обнаружить в деструктивных влечениях. Размышление превращает эту противоположность в другую – между влечениями к жизни (Эрос) и влечениями к смерти.

## VII

Если действительно влечения обладают таким общим свойством, что они стремятся восстановить раз пережитое состояние, то мы не должны удивляться тому, что в психической жизни так много процессов осуществляется независимо от принципа удовольствия. Это свойство должно сообщаться каждому частному влечению и сказывается в таких случаях в стремлении снова достигнуть известного этапа на пути развития. Но все то, над чем принцип удовольствия еще не проявил своей власти, не должно стоять в противоречии с ним, и еще не разрешена задача определения взаимоотношения процессов навязчивого повторения к господству принципа удовольствия.

Мы узнали, что одна из самых главных и ранних функций психического аппарата состоит в том, чтобы «связывать» доходящие до него внутренние возбуждения, замещать царящий в них первичный процесс вторичным, превращать свободную энергию активности в

покою, тоническую. Но во время этого превращения еще нельзя говорить о возникновении неудовольствия – действие принципа удовольствия этим также не прекращается. Превращение совершается скорее в пользу принципа удовольствия: связывание есть подготовительный акт, который вводит и обеспечивает господство принципа удовольствия.

Отделим функцию и тенденцию одну от другой резче, чем мы до сих пор это делали. Принцип удовольствия будет тогда тенденцией, находящейся на службе у функции, которой присуще стремление сделать психический аппарат вообще лишенным возбуждений или иметь количество возбуждения в нем постоянным и возможно низким.

Мы не можем с уверенностью решиться ни на одно из этих предположений, но мы замечаем, что определенная таким образом функция явилась бы частью всеобщего стремления живущего к возвращению в состояние покоя неорганической материи. Мы все знаем, что самое большое из доступных нам удовольствий —наслаждение от полового акта – связано с мгновенным затуханием высоко поднявшегося возбуждения. Связывание же внутреннего возбуждения составляло бы в таком случае подготовительную функцию, которая направляла бы это возбуждение к окончательному разрешению в наслаждении успокоением.

В зависимости от этого возникает вопрос, могут ли чувства удовольствия и неудовольствия происходить одинаково из связанных и несвязанных процессов возбуждения. Здесь обнаруживается с несомненностью, что несвязанные первичные процессы делают гораздо более интенсивными чувства в обоих направлениях, чем связанные, то есть вторичные, процессы. Первичные процессы суть также более ранние по времени; в начале психической жизни не встречается никаких других, и мы можем заключить, что, если бы принцип удовольствия не был действительным уже в них, он не мог бы проявляться в более поздних процессах. Мы приходим, таким образом, к тому, в основе далеко не простому, выводу, что стремление к удовольствию в начале психической жизни проявляется гораздо сильнее, чем в более поздний период, но более ограниченно; тут должны образовываться частые прорывы. В более зрелый период господство принципа удовольствия обеспечено гораздо полнее, но сам он так же мало избегает обуздания, как и все другие влечения. Во всяком случае, при вторичных процессах должно происходить то же самое, что и при первичных, а именно то, что вызывает возникновение удовольствия и неудовольствия при процессах возбуждения.

Здесь уместно бы заняться дальнейшим изучением. Наше сознание сообщает нам изнутри не только о чувствах удовольствия и неудовольствия, но также о, специфическом напряжении, которое опять-таки само по себе может быть приятным и неприятным. Будут ли это связанные или несвязанные энергетические процессы, которые мы посредством этого ощущения можем отличать одно от другого, или ощущение напряжения указывает на абсолютную величину или уровень активной энергии, в то время как ряд удовольствие – неудовольствие обозначает изменение величины этой энергии в единицу времени? Мы должны также заключить, что «влечения к жизни» имеют больше дела с нашими внутренними восприятиями, выступая как нарушители мира, принося вместе с собой напряжения, разрешение которых воспринимается как удовольствие. Влечения же к смерти, как кажется, непрерывно производят свою работу. Принцип удовольствия находится в подчинении у влечения к смерти, он сторожит вместе с тем и внешние раздражения, которые расцениваются влечениями обоюродного рода как опасности, но совершенно отличным образом защищается от нарастающих изнутри раздражений, которые стремятся к затруднению жизненных процессов. Здесь возникают бесчисленные новые вопросы, разрешение которых сейчас невозможно. Необходимо быть терпеливым и ждать дальнейших средств и возможностей для исследования. Также надо быть готовым оставить ту дорогу, по которой мы некоторое время шли, если окажется, что она не приводит ни к чему хорошему. Только такие верующие, которые от науки ожидают замены упраздненного катехизиса, поставят в упрек исследователю постепенное развитие или даже изменение его взглядов. В остальном

относительно медленного продвижения нашего научного знания пусть утешит нас поэт (Рюккерт в «Макамен Нагiri»):

До чего нельзя долететь, надо дойти хромя.  
Писание говорит, что вовсе не грех хромать.

**1920**